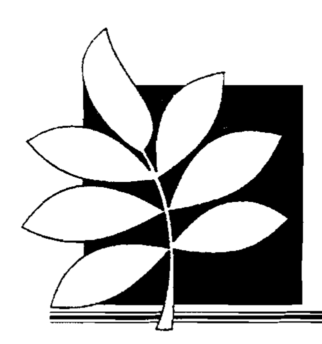


Философия и методология права



Предвестие тоталитаризма: в лабиринте сословных притязаний

А. Э. Петросян*

Бюрократия... склеила расползавшиеся части народа, пронизала их волей к порядку и приучила к однообразному пониманию обычных вещей.

А. Платонов. Город Градов

Фундаментом абсолютистской власти был договор между монархом, с одной стороны, и промышленниками и капитализировавшимися купцами и дворянством — с другой. Нет, не со всем дворянством, а лишь с той его частью, которая уловила тектонические сдвиги, происходившие в обществе. Понимая, что они могут смести не сумевших вовремя приспособиться, наиболее предприимчивые дворяне стали внедряться в промышленное дело, торговлю и государеву службу. А поскольку эти слои населения держали в своих руках почти всю реальную (основанную на земельной собственности и капитале) власть в гражданском обществе, их победа в политической сфере была, по сути, предопределена. Предопределена, несмотря на сопротивление (подчас ожесточенное) остальной части дворянства, которая видела, как рушатся вековые устои, и не ждала от этого ничего хорошего, и социальных низов, за чей счет в основном и был заключен верхами свой договор.

Но динамика общественных процессов в эпоху становления капитализма была столь велика, что соотношение сил, лежавших в основе абсолютистской власти, порой менялось, как в калейдоскопе. По мере укрепления новых хозяйственных связей, консолидации буржуазии и пополнения ее рядов капитализированными дворянами все заметнее становились недостатки абсолютизма. Раньше промышленная и торговая буржуазия была вынуждена терпеть опеку центральной власти, ибо это в конечном счете способствовало объединению рынка и созданию благоприятной общественной среды. Теперь же чрезмерное вмешательство в гражданское общество подрывало налаженные связи и тормозило развитие производства, осложняя жизнь третьего сословия, на чьи плечи буржуазия перекладывала бремя абсолютистского произвола. Это с одной стороны, а с другой — буржуазия уже сама стремилась занять свое законное, подобающее ее общественному влиянию, место в политической иерархии. Тем более что она выступала выразителем интересов всего третьего сословия (пролетариат, мелкая буржуазия, ремесленники и др.), которые никак не были представлены в системе государственной власти. И эта коллизия не могла не привести к кризису абсолютизма.

Слуга двух господ

Новое соотношение сил, оформившееся в обществе, требовало и переустройства власти. Абсолютизм должен был уступить свое место иной политической организации, которая учитывала бы трансформацию гражданского общества. А чрезмерное упорство в сохранении status quo порождало революционные ситуации, чреватые социальными потрясениями.

В Соединенных Штатах Америки, например, такой взрыв принял форму гражданской войны,

---

* В нашем журнале публикуется впервые.

в ходе которой были сметены остатки феодальных устоев. Впрочем, американцам сделать это оказалось проще, чем европейцам. Они не были обременены давними политическими традициями, да и феодализм не успел там пустить глубокие корни. В новом государственном устройстве — республике — произошло действительное разделение властей, которое вместе с целой системой сдержек и противовесов препятствовало опасной концентрации власти в одних руках и по существу ограждало гражданское общество от бесцеремонного вмешательства государства. А снятие феодальных препонов открыло для гражданского общества возможность свободного развития.

Вовлекшись в структуру государственной власти, буржуазия получила трибуну для выражения своих интересов. Поскольку она главенствовала в сфере производства, осуществление этих интересов способствовало развитию производительных сил и условий труда, а значит, в какой-то мере удовлетворяло запросы широких слоев населения. Таким образом, в силу весьма ограниченного вмешательства государства в дела гражданского общества, с одной стороны, и захвата сильными мира сего действительных рычагов государственной власти — с другой, была сведена к минимуму социальная роль чиновничества, прежде всего бюрократии. Поэтому в США не знали тоталитаризма и бюрократизма.

Несколько иначе обстояло дело в Англии, стране с глубокими монархическими традициями и сильными феодальными устоями. Вместе с тем она имела более развитой капитализм, а его формы выступали наиболее емко и выпукло. Причем феодальная иерархия естественным образом срослась с элементами нового общественного устройства.

Английские чиновники, в отличие от своих коллег в других странах, не находились в состоянии вражды с гражданским обществом. Наоборот, сословно-корпоративные интересы тщательно оберегались. Всем основным слоям общества было предоставлено право самим устраивать свои внутренние дела без постороннего вмешательства.

Интерес — в противоположность общим принципам — всегда имел для англичан конкретное наполнение, и поэтому приоритет отдавался партикулярным правам и особым привилегиям. Что же касается правительства, то оно должно было прежде всего обеспечивать соблюдение закона. Не случайно шутили, что нигде в мире правительству не отводится столь незначительная роль, как в Англии. Но именно этим и было обусловлено необычное доверие граждан и к правительству, и в целом к аппарату власти. Всеобщий партикуляризм предполагает, естественно, и партикулярность знаний, умений, опыта и навыков, следовательно, право на существование чиновничества, в том числе бюрократии. Однако само чиновничество также было неизбежно ограничено этим партикуляризмом, который страховал английскую систему власти от всеобъемлющего бюрократизма и тем более тоталитаризма.

Гораздо сложнее и противоречивее была ситуация на континенте. Здесь буржуазия была еще не так сильна, чтобы последовательно отстаивать свой корпоративный интерес, а главное — возглавляемое ею третье сословие не имело решающего влияния в народе. И наоборот, ключевую роль играло чиновничество, которое под флагом абсолютистской власти установило свое господство в сфере государственной жизни.

История, как известно, наметила два основных (если не считать промежуточный, английский) пути буржуазного развития: свободный (американский) и юнкерский (прусский). Первый состоит в решительном освобождении от феодальных пут и обеспечении свободной игры рыночных сил, а второй, обремененный крепостническими остатками и засильем дворянско-чиновничьей иерархии,— в приспособлении нового общественного устройства к интересам власть имущих. Конечно, они были характерны не только для США и Германии, однако именно в этих странах приобрели «чистую» форму. В отличие от Соединенных Штатов, где капитализм почти сразу же сбросил феодальное ярмо, сдвиги в прусской системе власти происходили мучительно, со скрипом и в извращенных формах.

Прусское чиновничество, видя усиление буржуазии и консолидацию третьего сословия, переменило тактику. Если раньше оно стремилось к удушению корпоративных структур, поскольку те пользовались влиянием в обществе и могли стать его конкурентами в борьбе за власть, то теперь, наоборот, оно начало заигрывать с ними. Чтобы противопоставить буржуазию, претендовавшую на выражение «универсального» интереса, остальным слоям общества пришлось восстановить ландтаг, который долго не созывался, учредить сословные комиссии в масштабах всей страны, а также объявить свободу печати в новой цензурной инструкции. Так объективно сомкнулись интересы чиновничества и сословно-корпоративной организации.

Наряду с буржуазией, господствующее положение в обществе занимало юнкерство, в руках которого была сосредоточена земельная собственность. Причем его интересы шли вразрез с запросами буржуазии. Юнкерство не просто препятствовало развитию капитализма, оно лишало его рабочей силы. Наступило состояние динамического равновесия, когда дворянские слои уже не могли диктовать свои условия обществу, но и буржуазия еще не обладала такой силой, чтобы настаивать на своих претензиях. И в этом противоречивом общественном контексте прусское чиновничество выступило свое-

образным посредником между ними и скрепило их союз под эгидой монарха.

Однако дифференциация социальных интересов была столь велика, что одна-единственная воля не могла их согласовать. Поэтому сама монархическая власть неизбежно оказалась усеченной. Наступила эпоха конституционной монархии, выражавшей компромисс между основными силами гражданского общества. Но этот компромисс был на руку прежде всего чиновничеству, которое, приняв на себя роль третейского судьи, приобрело возможность навязывать свою волю противоборствующим сторонам.

Таким образом, чиновничество ограничило суверенитет не только буржуазии и дворянства, но и самого суверена, за которым осталось лишь «последнее слово», во многом предопределяемое чиновничеством. В этом состояла природа нового централизма, который вроде бы не диктовал линию поведения тем или иным слоям общества, а пытался согласовать их интересы, найти точки соприкосновения между ними, но на деле, искусно балансируя на грани общих интересов и спекулируя на своей посреднической функции, проводил свою собственную, корыстную линию.

Как же это удавалось чиновничеству?

Дело в том, что оно действительно добивалось частичного примирения интересов буржуазии и дворянства. Конечно, отмена крепостного права подрывает социальное могущество дворянства, но при этом оно сохраняет большую и лучшую часть земли и ряд других привилегий. А потому оно в целом готово пойти на такую реформацию, понимая, что сопротивление чревато худшими последствиями. Да и буржуазия чувствует, что у нее недостаточно сил, чтобы полностью захватить власть, и довольствуется тем, что она уже приобрела, тем более что неожиданно открывается новый канал для реализации ее корпоративного интереса. Обладая таким универсальным мерилом богатства, как деньги, и пользуясь тем, что чиновничество практически ускользает из-под контроля и монарха (его воля вязнет в трясине чиновнической иерархии) и сословно-корпоративных структур, буржуазия оплодотворяет власть чиновничества реальным богатством, покупая у него столь значимые для нее услуги. Эта логика своекорыстия превращает представителя государства в исполнителя воли частного собственника, а сам аппарат власти — в орудие буржуазии. Тем самым буржуазия фактически компенсирует то, что она недополучила официально, в законном порядке, и тоже прорывается к кормилу власти.

Своевольное безволие

Конституционная монархия есть предвестник победы буржуазии и пиррова победа дворянства. Но это в историческом плане. А в контексте той эпохи она не что иное, как продукт динамического равновесия противоборствующих сил. Такая монархия предполагает отказ одних от вековых привилегий в обмен на приоритет в государственных делах и других — от претензий на политическое господство в обмен на незримую власть в обществе. Иными словами, это, по сути, своеобразная модель национального согласия — в том виде, в каком оно могло бы реализоваться в странах, опутанных крепостническими связями, где капитализм еще не проник во все поры социального организма.

Вероятно, именно поэтому Гегель стал поборником конституционной монархии, но гимн, который он ей посвятил, оказался на деле манифестом тоталитарной власти. В гениальном прозрении очертив контуры нового государственного строя и опрокинув их на будущее, Гегель не сумел или не захотел понять, какое зловещее будущее готовит его проект европейским народам, пошедшим по прусскому пути. Законсервировав в своем идеале государственного устройства неизбежный исторический этап — плод временного равновесия сил, — он обрек умы, последовавшие за ним, на тоталитарное видение мира. Тем самым Гегель заложил фундамент отвлеченно-державной идеологии, приносящей личность в жертву бездушной государственной власти.

Гегель отчетливо понимал, что центростремительное ускорение частнопромышленного и торгового капитала, которое было характерно для раннего капитализма, изживает себя и постепенно сменяется центробежным. Причем частный капитал захватывает в свою орбиту и сословно-корпоративные структуры, свойственные феодальному обществу. Поляризуется и крестьянство, распадаясь на сельскую буржуазию и пролетариат, и дворянство, часть которого вступает на капиталистические рельсы, а другая — в чиновнический орден. Поэтому требуется достаточно широкая платформа, способная удержать общество от социального распада.

Такой субстанцией, по мнению Гегеля, мог бы стать лишь государственный организм, держащий под контролем гражданское общество. При этом Гегель, безусловно, отдавал себе отчет в том, что полного единства в обществе нельзя достичь, и речь должна идти только о переплетении его отдельных частей. Тогда не обойтись и без разделения властей, которое соответствует неоднородности сословно-корпоративных интересов и способствует их адекватной реализации.

Это разделение властей, по Гегелю, не есть что-то первичное, изначально данное. Иными словами, нельзя допустить, чтобы оно привело к их самостоятельности, не говоря уже о взаимном ограничении. Разделение властей имеет смысл лишь в той мере, в какой оно выражает внутреннюю структуру субстанциального начала, а не разрозненные элемен-

ты общественного устройства. Таким образом, по Гегелю, безусловный приоритет принадлежит целому. Само государство должно расчленить себя на части, которые были бы столь же сохранены, сколь и растворены в нем.

В феодальном обществе функции власти находились в ведении общин, сословий и корпораций, а потому государство было скорее агрегатом, нежели организмом, не говоря уже о том, что эти функции были собственностью отдельных лиц и во многом зависели от их каприза. В гегелевской же модели государства с общинами, сословиями и корпорациями должно произойти то же, что в организме с желудком, который, хотя и полагает себя самостоятельным, но приносится в жертву целому и переходит в него. Иначе говоря, разделение властей возможно лишь постольку, поскольку суверенная воля сама распадается на компоненты, находя в них свое частичное выражение. Вот почему в основе всех властей должна лежать именно эта воля, которая, как и бог, воплощающийся в трех ипостасях — отце, сыне и святом духе, — остается субстанцией целого, т. е. государства.

Был ли прав Гегель? Отчасти да. Компромисс, заключенный между буржуазией и дворянством, предполагал наличие третьей воли, призванной согласовать их интересы. И если разорвать эту волю на абсолютно независимые части, неизбежно будет подорван и сам компромисс, что уже чревато распадом государства. Или же развернется борьба между отдельными ветвями власти, которая продлится до тех пор, пока одна из них не одержит окончательной победы. Совсем как во Франции конца XVIII в., когда противостояние законодательной и исполнительной властей удалось снять лишь в наполеоновской конституции. Но эта верховная воля выражает, конечно, не некий мифический всеобщий интерес, а результирующую компромисса, т. е. сложившегося параллелограмма сил.

Однако Гегель не приемлет не только самостоятельности властей, но и их полного развертывания, включая, помимо законодательной и исполнительной, еще и судебную власть. С помощью квазидиалектической эквилибристики он доказывает, что, в отличие от первых двух, относящихся соответственно к сферам всеобщего и особенного, третья не представляет области единичного. Хотя, если исходить из здравого смысла, именно судебная власть трактует единичное отношение с точки зрения закона и его исполнения. Но Гегелю нужно включить в эту триаду монарха, а этого можно добиться, лишь искусственно выдавив из нее суд.

Государство, по Гегелю, распадается на следующие компоненты: «а) на власть определять и устанавливать всеобщее, законодательную власть; б) на власть подводить особенные сферы и отдельные случаи под всеобщее, правительственную власть; в) на власть субъективности как последнего волерешения, княжескую власть, в которой различенные власти объединяются в индивидуальное единство, которая, следовательно, есть вершина и начало целого, конституционной монархии»[1]. В этой новой модели удается совместить разрозненные и даже противоположные формы государственного устройства — монархию, аристократию и демократию. Они становятся тут лишь моментами единой власти: монарх — один; правительство — несколько человек; а законодательный орган — множество людей. Причем дело не столько в их количестве, сколько в глубине выражения интересов сословий и корпораций, которая здесь весьма значительна.

Но совершенно очевидно, что «последнее волерешение» монарха не может играть принципиальной роли. Все государственное устройство зиждется на динамическом равновесии общественных сил, а потому подвижки в ту или другую сторону обусловлены игрой противоположных тенденций. Да Гегель и сам не придает монарху слишком большого значения, предлагая не усматривать в нем высшего государственного чиновника: «Если конституция прочна, на его долю часто остается лишь подписать свое имя. Но это имя важно; это — вершина, выше которой нельзя восходить»[2]. Значит, дело не в самом монархе, а в той субстанции, которую он олицетворяет, символом чего он является. Главное — это держава, точнее — аппарат власти, который уже не столь силен, чтобы повелевать гражданским обществом, но, пользуясь равенством сил, способен регулировать и регламентировать его.

Но кто же тогда оказывается хозяином государства?

Монарх является декоративным элементом системы власти, символической реалией, подменяющей собой живую действительность. Народ, естественно, безмолвствует. Дворянство и буржуазия действуют через своих агентов. И лишь чиновничество само проникает во все поры государственного аппарата. Именно оно представляет на рассмотрение монарха содержание общественных дел вместе с основаниями их решения, предопределяя тем самым его собственную волю. Причем чиновники избавлены от контроля как сверху, так и снизу. С одной стороны, избрание высших чиновников «составляет прерогативу его неограниченного произвола, потому что эти индивидуумы имеют дело с ним лично и непосредственно», а с другой — лишь «совещательные учреждения или эти лица, являющиеся советчиками, подлежат ответственности; величество же монарха как последняя решающая субъективность стоит выше всякой ответственности за действия правительства»[3]. Вот так! Только монарх должен назначать первых лиц государства, но как раз он меньше всего отвечает за их действия.

Как видно, монарх в гегелевской модели государства, несмотря на свою символическую природу, отнюдь не архитектурное излишество. В его функцию входит оправдание чиновничьего произвола. Выступая в качестве субстанции державы, он придает державно-субстанциальный характер и действиям чиновничества в отношении гражданского общества, превращая эти действия в высшую добродетель, смысл общественной жизни. Именно чиновники, в отличие от народа, который «не ведает, что творит» и чего он хочет, «необходимо обладают более глубоким и обширным пониманием природы учреждений и потребностей государства»[4]. Если же к этому добавить, что судебная власть, по Гегелю, есть не более чем придаток власти исполнительной, ибо предназначение судебной власти состоит в реализации в особенных отношениях гражданского общества всеобщей державной цели, то станет очевидной неограниченность чиновничьего произвола, освященного эфемерной монаршей волей.

Правда, Гегель и сам ощущает шаткость и неоднозначность положения чиновничества. С одной стороны, он признает, что государственные функции не должны быть частной собственностью, а с другой — считает земельную собственность объективной базой независимости управленческого сословия. В самом деле, если нет такой независимости, то чиновничество рискует стать марионеткой в руках буржуазии, что означает, по сути, подрыв сословно-корпоративного компромисса и самой конституционной монархии. Но и закостенение чиновничества — передача властных полномочий в его частную собственность — неизбежно порождает у него специфические интересы, которые осуществляются им в ущерб другим слоям общества.

Это не столько дефект гегелевской модели государства, сколько признак неустойчивости того сословно-корпоративного мира, из которого Гегель выводит свою модель. А в этих условиях наиболее естественным сценарием является кристаллизация чиновничьей корпорации, нависающей над обществом зловещей тенью. Ни сословия, которые изначально относятся к ней как к арбитру, ни тем более монарх, чье бутафорское своеволие на деле оборачивается совершенным безволием, не в силах остановить этот процесс. Поэтому гегелевскую модель организации государственной власти точнее было бы назвать не философией прусской бюрократии (Маркс), а исторически первым манифестом тоталитаризма.

Страна чудес

Тоталитаризм был не столько изобретен или предвосхищен Гегелем, сколько подсмотрен им в государственной жизни Франции. Уже в начале XIX в. тамошнее чиновничество, находясь под крылом Наполеона I и витая над сословно-корпоративной структурой общества, держало под контролем социальные процессы. Именно оно и было главным реализатором политики бонапартизма, выражавшейся в виртуозном лавировании между частными интересами отдельных слоев и групп и конечном подчинении их собственному интересу, который выдавался за общенациональную волю под флагом конституционной монархии.

Эта картина повторилась и в ряде других стран с похожей социальной структурой и примерно таким же соотношением общественных сил. К этим странам относится и Россия, хотя она вступила в полосу тоталитарного развития несколько позже, в последней трети XIX в., когда в результате целого комплекса реформ все перевернулось и заново стало укладываться. Причем отсутствие писаной конституции оказалось не такой уж большой помехой, так как само историческое движение России протекало в относительно упорядоченных, квазиконституционных формах. Они нашли свое воплощение в учреждениях и институтах, так или иначе выражавших права и интересы отдельных (в основном имущих) слоев населения и в то же время сдерживавших произвол верхов.

Разумеется, такой ход событий был чреват серьезными осложнениями, ибо этот никем не установленный порядок непрерывно нарушался, каждый шаг вперед сопровождался многочисленными отступлениями и попытками социального реванша. К тому же отсутствие конституционно закрепленных прав низов закрепощало их гражданскую энергию и накопляло пар в котле, который в любой момент готов был взорваться. И только в 1905 г., когда с него сорвало крышку, пришло ясное осознание того, что стране необходима писаная конституция.

Правда, конституция сама по себе мало что меняла в природе государственной власти. Скорее, дело шло об официальном признании того перераспределения власти, которое фактически уже произошло в недрах российской жизни. Однако, во-первых, это есть в какой-то мере освящение сложившихся реалий, а во-вторых, фиксация внешних атрибутов нового государственного устройства — гражданских прав, избирательной системы, государственной думы и т. д. — довершала здание тоталитаризма, придавала ему законченный облик. Не случайно именно после октябрьского манифеста 1905 г. российское самодержавие обрело черты классического бонапартизма, блестящим выразителем которого стал П. А. Столыпин. Это свидетельствовало об окончательной победе в России тоталитарной системы власти.

В чем же заключается сущность тоталитаризма? Как он связан с кристаллизацией чиновничества (оторванной от гражданского общества касты), тем не менее властвующего над гражданским обще-

ством? И почему бюрократия, совсем еще недавно прислуживавшая своим хозяевам, прорывается к рулю государственного управления?

Тоталитаризм не просто консолидация власти, ее привязанность к единственному источнику, чья проникающая радиация контроля и регламентации охватывает все общество. Это в большей мере было присуще абсолютизму, утратившему в новых условиях точку опоры. С одной стороны, централизация власти (не говоря уже о степени этой централизации) опиралась тогда на реальные центростремительные тенденции, а ее воздействие на гражданское общество, скажем, насаждение мануфактур и т. д., было сопряжено с частными интересами социально активных групп, т. е. линия действия центральной власти и потребности развития основных слоев в общем и целом совпадали. Теперь же эти интересы все чаще оказывались противонаправленными, и центральная власть опирается уже не на их общность, а наоборот, на необходимость их внешнего согласования. С другой стороны, центральная власть в большинстве случаев не в силах навязывать сословиям и корпорациям пути и формы их существования. И дело не только в том, что им лучше знать, что делать и как развиваться, но и ввиду неуклонной партикуляризации интересов, в выхолащивании всеобщих целей. Поэтому тоталитаризм объективно гораздо менее могущественен, нежели абсолютизм. Однако рычагов негативной (ограничительной) регламентации и контроля у него все еще достаточно, чтобы обуздать гражданское общество.

В зависимость от тоталитарной власти попадает все общество — от отдельных граждан до целых слоев населения. Нет, никто им не предписывает, что и как надо делать. Сословия и корпорации автономны почти во всем, что не противоречит установлениям государства. Но гражданское общество опутывается «лесом бюрократических придирок» (Ф. Энгельс), и именно чиновничеству отводится право быть арбитром в этом деле. Тем самым государство вынуждает гражданское общество подлаживаться под него, вести с ним постоянный диалог на правах младшего партнера.

Меняется и социальная природа державной идеологии. При абсолютизме она сохраняла еще какой-то практический смысл. Большинство населения было заинтересовано в уплотнении общества, укреплении связей между его частями. Это с одной стороны, а с другой — политика центральной власти в основном соответствовала интересам наиболее влиятельных слоев общества. В условиях же тоталитаризма державная идеология оказывается пустой оболочкой, наполняемой на деле весьма корыстным содержанием. С ее помощью чиновничество выставляет себя в качестве олицетворения державы. Если раньше державная идеология, несмотря на многочисленные злоупотребления ее пафосом, выражала общенациональную потребность в сплочении, то сейчас из-за автономизации общественных слоев и усиления центробежных тенденций — она становится знаменем, под которым отстаивается частный интерес управленческого сословия.

Так, чиновничество, поднаторевшее на манипуляциях интересами отдельных слоев и накопившее большой опыт ведения государственных дел, узурпирует власть, отсекая от нее другие социальные силы. Оно постепенно формирует тот механизм господства, который паразитирует на раздробленности гражданского общества и противостоянии его частей. Этот механизм строится по принципам, которые лишают реальной власти как сословно-корпоративные институты, так и самого монарха. Отчуждая власть от верхов и низов, чиновничество добивается абсолютной гегемонии как в государственной, так и во всей общественной жизни.

Во-первых, чиновничество выступает перед монархом от имени тех слоев (дворянство и буржуазия), чей союз послужил основой конституционной монархии. Оно как бы владеет мандатом их доверия, и монарх вынужден с этим считаться. Само правительство, которое прежде должно было осуществлять единую государственную волю, приспосабливая ее к современным реалиям, теперь представляет мозаичную (обобщенную) волю гражданского общества, которую (с одобрения монарха) и следует претворять в жизнь. Иными словами, если абсолютистское правительство было своеобразной призмой, расщеплявшей державную волю на отдельные компоненты, то тоталитарная власть стала неким координационным советом, призванным согласовывать особенные волеизъявления и, найдя их равнодействующую, представлять на утверждение монарха. Но это значит, что монарх фактически лишается права определять государственную политику — она предзадается чиновничеством. «Последнее волерешение» монарха приобретает формальный характер и освящает то, что изменить уже практически невозможно.

Так, уже в конце XIX в., несмотря на самодержавную по форме власть, российский император был серьезно «поражен в правах» и находился в отчетливой зависимости от собственного чиновничьего аппарата. Даже там, где он хотел бы проявить твердость и решительность и настоять на своем «волерешении», в конце концов приходилось уступать реальной правящей силе. В этом смысле весьма показательна история крушения царского поезда, изложенная знаменитым юристом А. Ф. Кони.

17 октября 1888 г. у станции Борки под Харьковом произошла железнодорожная катастрофа, в которой лишь чудом уцелели Александр III и члены его семьи. В ходе проведенного расследования выяснилось, что главными виновниками были министр путей сообщения К. Н. Посьет и главный инс-

пектор железных дорог К. Г. Шернваль, чья преступная халатность и злоупотребления службой повлекли за собой цепочку событий, приведших к трагедии. Когда А. Ф. Кони сообщил об этом Александру III, тот выразил убеждение в том, что все виновные, невзирая на чины и звания, будут строго наказаны. Однако Посьет и Шернваль отделались легким испугом, получив по выговору «без внесения в формуляр». Узнав об этом, царь высказал удивление, но не стал возражать, понимая, что не в силах тут что-либо изменить. Стремясь хоть как-то проявить самостоятельность, он распорядился, чтобы в печати дали подробный обзор этого дела. Но за этим не последовало никакого правительственного сообщения. Незримые границы сковали волю монарха, и она навсегда увязла в трясине чиновничьего аппарата. А ведь процесс тоталитаризации российского государства был пока еще весьма далек от завершения. Но бюрократический спрут уже запустил свои щупальца в общественную жизнь и политическую иерархию.

Это, конечно, не значит, что монарх вообще ничего не может. Совсем нет. Ему по силам миловать преступивших грань дозволенного и расправляться с неугодными, пользоваться финансовым могуществом государства и другими благами жизни, а то и покарать отдельно взятого чиновника, правда, как правило, не очень высокого ранга. Но что касается всего чиновничества как общественного слоя, то тут его возможности весьма скромны. Он сам оказывается в чиновничьей власти, превращаясь в ее орудие. Фактически лишаясь статуса высшего должностного лица, он все больше впадает в то состояние, когда царствуешь, но не правишь.

Во-вторых, по мере врастания государства в гражданское общество усиливается потребность в разветвленной чиновнической вертикали, нацеленной на всеохватывающий контроль за повседневной жизнью — от бытовых мелочей до правительственных решений. Но такая лестница не может нормально существовать, пока она носит однородный характер. Дело не только в том, что чиновники, выполняющие разномасштабные поручения, не должны иметь одинаковый статус. Гораздо важнее, чтобы на каждом уровне государственной регламентации возникла особая сфера приложения чиновничьих усилий, которая требует специализации и «отличительной компетентности». Поэтому управленческая пирамида подразделяется на множество отдельных звеньев, подчиненных вышестоящим, но в то же время наделенных своей долей административного произвола.

Недаром в переломную для России пореформенную эпоху отставной корнет Толстолобов из «Дневника провинциала в Петербурге» М. Е. Салтыкова-Щедрина требует искоренить «пагубный формализм». Мало того, что губернаторы стеснены всякого рода представительными учреждениями, а исправники не вправе поступать по обстоятельствам, так еще «становые пристава до такой степени опутаны сетями начальственных предписаний, что вскоре самую жизнь за тягость себе почитать будут». Каков же выход? Вооружить власть. «Для того же, чтобы власть чувствовала себя вооруженною, необходимо повсюду оную децентрализовать». Это значит, не просто освободить ее от рапортов, донесений и тем более советов со всякими там палатами и присутствиями, но и предоставить ей издавать если не настоящие законы, то хотя бы правила. А главное, «на каждых пяти верстах поставить особенного дистанционного начальника из знающих обстоятельства местных землевладельцев, которого также вооружить, с предоставлением искоренить зло по обстоятельствам».

Это иерархическое дробление чиновничества не столько улучшает систему государственного управления, сколько укрепляет оковы гражданского общества. Ибо нижние этажи, получив свою долю произвола и стреножив гражданскую жизнь, сами оказываются полностью во власти вышестоящих звеньев и лишены возможности самостоятельно принимать положительные решения. Их «суверенитета» вполне хватает лишь на то, чтобы «держать и не пущать». Тем самым замыкается административный круг, и механизм чиновничьего господства над гражданским обществом принимает завершенную форму.

Однако именно этот механизм оказывается в конце концов и тем рычагом, который переворачивает систему отношений и внутри чиновнической иерархии. В нем подспудно совершается инверсия власти: вышестоящие звенья ее утрачивают, а нижестоящие, наоборот, подхватывают. При этом все ее внешние атрибуты остаются практически незатронутыми. А в гражданском сознании этот перелом выражается в том, что люди начинают понимать: для решения насущных проблем лучше обратиться к мелкой сошке, нежели к сильным мира сего. Во всяком случае доступ к ним легче всего открывается через секретарский корпус.

В-третьих, фактическое вынесение монарха за скобки аппарата власти консолидирует власть в руках чиновничества и окончательно формирует его внутреннюю иерархию. Возникает ее развернутая форма, распадающаяся на лидеров, управителей и бюрократов. Казалось бы, решающее слово закрепляется за лидерами и в какой-то мере за управителями, которые формируют государственную политику или определяют порядок ее реализации. Однако на деле все оказывается совсем иначе.

Пронизывая собой гражданское общество, чиновничество выводит на передний план контрольно-распорядительные функции аппарата власти, которые почти целиком находятся в руках бюрократии. Она же и получает рычаги воздействия на высшее

чиновничество, становясь на всех уровнях управления своеобразным посредником между ним и гражданским обществом. Бюрократия, с одной стороны, рисует «действительную» картину общественных процессов, а с другой — толкует выработанную высшим чиновничеством политику. Иначе говоря, она является транспортером информации, поступающей по управленческим каналам снизу до самых верхов, и интерпретатором информации, предназначенной для гражданского общества.

Все это происходит в каждом звене управления. Но не только. То же наблюдается и в отношениях между различными этажами власти. Хотя вышестоящие звенья могут чинить произвол над нижестоящими, их могущество неустойчиво, лишено прочного фундамента.

Манипулируя информацией, нижние этажи в состоянии приручить верхние. Причем чем дальше то или иное звено (и чем дальше чиновник в каждом из звеньев) от гражданской жизни, тем меньше у него шансов влиять на события в нужном для него направлении. А поскольку главным «хранителем» информации является бюрократия, она и выступает в качестве решающего фермента государственного сознания, определяя его как по размаху, так и по содержанию.

Так завершается бюрократизация государственной жизни, выступающая продуктом внедрения в общество тоталитарных начал. Государство превращается в страну чудес, где может произойти что угодно — вопреки здравому смыслу, но ничего аномального — если судить с точки зрения официальных циркуляров. Даже в преддверии или во время социальных взрывов канцелярские формуляры строго выверены и полны административного упоения. Ибо модель того, что может и должно быть, спущена бюрократии сверху, но составлена на базе предоставленной ею информации. И бюрократия в полном согласии с этой моделью рисует картину гражданской жизни, облекая в плоть и кровь заранее данный скелет.

В этом смысле прав, вероятно, Гегель, когда он говорит, что предположение, будто правительство руководствуется злой или не вполне доброй волей, характерно для воззрения черни и вообще для точки зрения отрицания. В действительности власть поступает согласно известным ей законам и конкретным обстоятельствам. Иное дело, что как те, так и другие извлечены из ложной, иллюзорной картины мира, составленной бюрократией по заданию высшего чиновничества. Вот почему аппарат управления в тоталитарном государстве не может признать состояние дел бедственным. А если и понудит его к этому какая-либо социальная катастрофа, то всегда найдутся объясняющие ее внешние причины — явления природы, не зависящие от людей, условия жизни, не зависящие от администрации, или случайные факторы, не зависящие ни от кого (Маркс).

Так есть ли резон обвинять чиновничество в преступной бездеятельности или злом умысле? Вряд ли. Встраиваясь в бюрократическую иерархию, оно лишается реальной власти даже над самим собой и вынуждено во имя своего благополучия свято исполнять устав тоталитарного монастыря. Поэтому любая претензия к чиновнику не может быть воспринята им иначе как личное оскорбление, причем тем большее, чем «добросовестнее» выполняет он свои обязанности. Корень зла надо искать не в самом чиновничестве и даже не в его бюрократической прослойке, а в том государственном устройстве, который, пытаясь взять под всеобщий контроль гражданское общество, тотально обезличивает аппарат управления.

Круг почти замыкается — и опять все упирается в трансформацию системы власти. Но тогда к чему был этот экскурс в историю? Учит ли она чему-нибудь, кроме того, что она ничему не учит?

Конечно, нет смысла искать в истории готовые рецепты или хотя бы намеки и подсказки, что и как предпринять. Но тому, кто хочет извлечь из нее нечто поучительное, она может дать в руки ариаднину нить. Это то, что любая власть произрастает из реального базиса — того жизнеустройства, которое свойственно данному обществу. С одной стороны, ее нельзя навязать обществу, в котором нет для этого благоприятной почвы, а с другой — если в недрах общественной жизни сложились определенные устои, то соответствующая им форма власти, как бы ей ни сопротивляться, в конце концов пробьет себе дорогу, хотя и может предстать в изуродованном, искалеченном, извращенном виде. Попытка эмансипировать общество, лишенное достаточной внутренней свободы, равно как и оградить его от собственных ограничительных тенденций, есть насилие над ним, а потому не может завершиться чем-либо иным, кроме как окончательным порабощением этого общества идеей эмансипации, начиненной корыстным интересом тех, кто стоит у власти или прорывается к ней. Действительная эмансипация — это устранение тех властных структур, которые пережили свои общественные устои или подпитываются не ими, а неадекватностью, извращенностью их надстроечных форм и атрибутов и паразитируют на противоречивости социальных интересов.

---

[1] *Гегель*. Философия права // Соч. — М.-Л., 1934. — Т. VII. — С. 295.

[2] Там же. — С. 307.

[3] Там же. — С. 312.

[4] Там же. — С 324.